

*А.В. Лыков  
(Таганрог)*

### **АФОРИСТИЧНОСТЬ ЯЗЫКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П. ЧЕХОВА**

Проза А.П. Чехова удивительно современна. Сочетание лаконизма и глубины его рассказов как будто предвосхитило век жутких скоростей, острого дефицита времени, сжатости пространства и соответственно нового пользователя языка, требовательного, взыскательного, нуждающегося в содержательно насыщенной и эстетически совершенной информации. Чеховское слово предполагает сотворчество. Обладая огромной силой обобщения и в то же время редкой индивидуальностью, оно адресовано всем и каждому в отдельности, и это его свойство стало особенно востребованным в условиях стирания территориальных, национальных, социальных и конфессиональных границ между людьми, всё более осознающими свою генетическую сущность. Обращение к соотечественнику и одновременно ко всем народам мира сделало А. П. Чехова самым читаемым писателем XXI в.

Ирония, обосновавшись на пересечении мистически-непостижимого и вместе с тем объективно-неизбежного балансирования в человеке животного инстинкта самосохранения и преодоления зверя в себе, стала для писателя своеобразной формой выражения протеста против лукавой диалектики жизни. В его прозе, как в Библии, иносказание дает возможность если не до конца понять мысль о твоём высшем предназначении в условиях трагически короткого и трудно мотивируемого времени пребывания на земле, то хотя бы почувствовать удовлетворение от достойного на ней проживания.

Незамысловатые коллизии получают у Чехова нетривиальное развитие и неожиданную развязку. Меткость его слова обусловлена не только аналитическим взглядом на мир писателя-врача, но и широким тезаурусом эрудита, создавшего свою неповторимую афористично-семантическую аксиологию. Его персонажи не вписываются в традиционную оппозицию *положительные - отрицательные*, они делятся на тех, кто представляет собой личность, и тех, кто безнадежно безлик. Первые могут ошибаться, совершать нелицеприятные поступки, страдать, мучиться, каяться. Вторым не свойственны сомнения, страдания, раскаяния. Непроходимая пропасть между ними подчеркивается строчками, которые цитирует один из самых рефлектирующих чеховских персонажей - профессор Николай Степанович:

*Орлам случается и ниже кур спускаться,*

*Но курам никогда до облак не подняться... (С. VII, 296).*

В тексте они получают неожиданное и образное завершение, где высоты басенного орла трансформируются в едкую иронию над взлетом научной мысли, не избавившим его от ординарности жизненных тягот, в преодолении которых не умеющая летать курица оказалась жизнеспособней.

*И досаднее всего, что курица Гнеккер оказывается гораздо умнее орла-профессора.* (С. VII, 296). В сложном, причудливом переплетении добра и зла, исключая прямые и категоричные оценки, писатель создает портреты живых и узнаваемых людей. Они вызывают смех сквозь слезы, разрушая границы между комедией и трагедией. Хлесткая чеховская ирония не обидна, поскольку автор в полной мере адресует её и самому себе. Чехов не злобен, а насмешлив. С пониманием относясь к унижающим человека жизненным обстоятельствам, он, в сущности, толерантен к своим заурядным персонажам и беспощаден к тем, кто пытается их судить:

*Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек.* (С. VII, 257).

Сотрудничество с читателем, поощряемое особой манерой письма, закладывает в интерпретацию авторского слова определенную долю субъективизма, иногда, увы, зашкаливающую. Так произошло со словами:

*Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте!* (С. VIII, 343).

В сложном синтаксическом целом отсутствует заключительное предложение, без которого в нем реализуется значение противопоставления веры в Бога вере в человека с явным приоритетом второй. Это образец откровенного цитатничества, искажающего подлинный смысл высказывания, верное понимание которого обеспечивается именно последним, концептуально значимым предложением. Оно восстанавливает истинные каузальные отношения ССЦ, сообщая ему принципиально иной, евангельский его смысл, состоящий в том, что вера в Бога и вера в человека находятся в диалектическом единстве, противопоставляясь в борьбе плоти и духа и одновременно объединяясь в духовном подвиге Иисуса Христа:

*Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа.* (С. VIII, 343). Особой афористичностью обладает притчевый жанр прозы писателя, который является наиболее целесообразной формой для постановки вечных вопросов. К одному из них относится вопрос уместности наказания смертной казнью. На него писатель дал столь убедительный ответ, что можно было бы раз и навсегда закрыть эту тему, по крайней мере, для православного общества. Авторскому выводу притчи (морали) предшествует формулировка мнений противоположных сторон, причем обе точки зрения получают афористичное вербальное выражение. В одной из них мотивируется гуманность смертной казни в сравнении с пожизненным заключением:

*Казнь убивает сразу, а пожизненное заключение медленно. Какой же палач человечнее? Тот ли, который убивает вас в несколько минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолжение многих лет?* (С. VII, 229).

Образная аргументация в пользу смертного приговора лишь на первый взгляд кажется неоспоримой: лингвистический анализ дает основания сомневаться в её абсолютной достоверности. Обращает на себя внимание витиеватость фразы, скрывающая истинного палача - человека, что заметно нивелирует его ответственность за преступление. Роль убийцы берет на себя метонимический субъект *казнь* и его контекстуальная перифраза *палач*. Сложен и антонимический рисунок высказывания. Он формируется за счет языковых антонимов *сразу - медленно; в несколько минут - многие лета*, сочетающихся с окказиональными антонимами: *убивать (в несколько минут) - вытягивать жизнь (в продолжение многих лет)*, которые в лексической системе являются синонимами. Антиномии высказывания завершает оксюморон *палач человечнее*, представляющий собой попытку объединить несовместимые понятия - *палач и человечность*.

На фоне языковой игры, камуфлирующей бесчеловечную сущность мнения защитника смертной казни, противоположное мнение воспринимается как гуманное и логически неопровержимое:

*Государство - не Бог. Оно не имеет права отнимать то, чего не может вернуть, если захочет.* (С. VII, 229).

Первое отрицательное предложение, выраженное контекстуальными антонимами *государство - Бог*, абсолютно бесспорно по характеру предикативного отношения, включающего несовместимые по своей изначальной сути понятия. Языковые антонимы *отнимать - вернуть*, выражающие крайние точки семантической парадигмы, в отношении к объекту *жизнь* проявляют еще и противоположные возможности их реализации. Действие первого глагола оппозиции, несмотря на отрицательную модальность со значением отсутствия права его совершать, в реальности вполне осуществимо человеком, тогда как действие второго глагола с модальным значением невозможности оказывается вне его власти. Модальная триада *не имеет права - не может - захочет* подчеркивает откровенно волюнтаристский субъективизм в принятии решения *отнять* жизнь при абсолютной неспособности её *вернуть*. Убедительность слов говорящего лица, не признающего смертной казни, подтвердится

и характером развязки, в которой узник обретет смысл жизни и выйдет из игры на спор. Изменения, которые произошли в душе персонажа, принявшего пятнадцатилетнее одиночество, позволяют с большой долей вероятности предположить, что автор категорически не приемлет смертную казнь как средство осуществления суда человека над человеком. В этом смысле афористична и другая строка притчи:

*Жить как-нибудь лучше, чем никак.* (С. VII, 229).

Глубина и емкость предложения формируется за счет двусмысленности связей неизменяемых компонентов, направленность которых зависит от актуального членения, имеющего три варианта: 1). *Жить как-нибудь /лучше....* 2). *Жить как-нибудь лучше....* 3). *Жить / как-нибудь лучше....* Тема-рематическое членение определяет соответственно структурно-семантический тип каждой из предикаций. 1). Двусоставное построение, в котором дейктический компонент *как-нибудь*, трансформируясь в номинативную характеристику подлежащего, выражает негативный процесс, оцениваемый компаративным предикатом: *жить плохо / лучше....* 2). Безличная предикация, выраженная компаративным словом категории состояния с примыкающим к нему инфинитивом и частицей *как-нибудь* с уступительно-усилительным значением: *лучше все-таки жить ....* 3). Двусоставная предикация, в которой *как-нибудь* усиительно-уступительная частица в составе сказуемого: *жить / все-таки лучше....*

Во второй части дейктическое наречие *никак* во всех трех вариантах предложения отрицает любые признаки жизни, а значит, и саму жизнь, вступая в антонимичные отношения с наречием *как-нибудь*, предполагающим наличие хоть какого-то процесса.

Парадоксален смысл фразы:

*Добровольное заточение гораздо тяжелее обязательного* (С. VII, 230).

Её афористичность формируется за счет антонимичных компонентов предикативного отношения, парадоксальность которого обнаруживает трансформация: *То, что совершается по собственной доброй воле, гораздо тяжелее того, что диктуется чужой волей.* С точки зрения обыденного сознания это утверждение странно, однако его глубинное содержание вполне оправдано логически и заключается в том, что самыми тяжелыми и в то же время самыми продуктивными оказываются усилия *собственной воли*, способные многое изменить и в себе, и вокруг. Узник, отсидевший пятнадцать лет за деньги, отказывается от них, а потенциальный палач, решивший из-за них убить, искренне сокрушается по поводу своей человеческой (а не финансовой) ущербности:

*Никогда в другое время, даже после сильных проигрышей на бирже, он не чувствовал такого презрения к самому себе, как теперь. Придя домой, он лег в постель, но волнение и слезы долго не давали ему уснуть...* (С. VII, 235).

Это исключительно чеховский финал спора, тонко, ненавязчиво транслирующий мысль автора о победительной силе духовности, одно прикосновение к которой дает впечатляющие результаты. Приходится только сожалеть по поводу того, что к слову писателя недостаточно прислушиваются, продолжая с наивным энтузиазмом обсуждать вопросы, убедительно и исчерпывающе им решенные.

Мораль чеховского рассказа часто отражает нелицеприятные стороны русской реальности, в чем-то мало меняющейся:

*Чем меньше человек, тем вывеска его должна быть больше* (С. IV, 151).

Антитеза формируется в сочетании различных типов антонимов. В оппозиции контекстуальных антонимов *человек - вывеска* предметное подлежащее актуализирует не только прямое номинативное значение, но и является неким символом, дагерротипом лица. Диффузным значением обладают и языковые антонимы. Предикат *меньше* означает и *менее образованный*, и *менее культурный*, и *менее нравственный* и т.п.; *больше* - и *большого размера*, и *яркий*, и *броский* и т.п. Вывод, каким бы циничным он ни был, не потерял актуальности и в наши дни, способствуя достижению успехов в искусстве обмана и оболыщения. Нездоровому рекламному буму посвящен разговор олицетворенных небесных светил. Остроумны и актуальны ироничные слова *солнца*, адресованные *луне*, которая надумала страдать по пово-

ду отрицательной характеристики, данной ей Пушкиным: «Эта глупая луна на этом глупом небосклоне». (С. VI, 290). Эффект от скандальных слухов, который должен утешить луну, вполне в духе нашего времени: «Я думаю, Иоганн Гофф и Кач дорого бы дали за то, чтоб их Пушкин выбрал нехорошими словами... Реклама - великая штука. Вот, погоди, будет затмение, и о тебе заговорят». (С. VI, 291).

Антонимы часто являются средством ироничной афористичности языка Чехова:

*Какой маленький человек и такой большой желудок!* (С. XI, 8).

В границах предложения противопоставленность слов приобретает смысловую емкость. Контекстуальные антонимы *человек* и *желудок* становятся в нем символами умственного и физического начал в человеке. Языковые антонимы *маленький* - *большой* употреблены в диффузном значении. Первое прилагательное пары выражает рост, имплицитно в контексте низкие морально-нравственные свойства. Еще более сложным оказывается значение прилагательного *большой*: его сочетание с существительным *желудок* дает представление не только о физиологических особенностях фигуры человека, но и о его хищническом отношении к жизни. Антитеза усиливается за счет особого построения сложносочиненного предложения, части которого связаны сочинительным соединительным союзом, в то время как их лексический состав обнаруживает отношения противоречия.

Языковая и контекстуальная антонимия формирует выразительность предложения:

*Мало знающий, много думающий и из-за угла много говорящий юноша* (С. XI, 50).

Антитеза, лежащая в основе построения фразы, показывает несоответствие знаний и опыта, свойственное молодым с их страстью к празднословию. В оценке нет ожидаемого благодушия, которое иногда связывают с понятием *молодо-зелено*. Оптимистичному восприятию афоризма мешает обстоятельство места *из-за угла* с намеренно разрушенными синтагматическими связями: характеризуя обычно глаголы *появляться*, *выходить*, оно проявляет не свойственную ему сочетаемость, формируя дополнительное значение неожиданности, внезапности многоречивости. С глаголами *нападать*, *убивать* оно употребляется во фразеологически связанном значении - *исподтишка*, *вероломно*. Отмеченные ассоциативные связи сообщают процессу *говорения* отрицательную коннотацию (*неожиданно*, *внезапно*, *исподтишка*, *вероломно*), имплицитно провакционный, неадекватный тип поведения вообще, чреватый непредсказуемыми поступками.

Чеховские оценочные оппозиции выразительны и правдоподобны, в них отсутствует прямолинейность тривиального соотношения *хорошо* - *плохо*. Они освобождены от социальной мотивации, по поводу чего одни подвергали писателя критике за его якобы безыдейность, другие тщетно пытались найти классовые противоречия там, где их не было. Между тем характеры писателя-врача, прежде всего, выверены психологически, что и придает им внеклассовую, а иногда и вненациональную достоверность. Его антиномии актуальны на все времена. Такова субстантивированная оппозиция *толстый* и *тонкий* одноименного рассказа, на первый взгляд создающая иллюзию того, что речь в нем пойдет о социальном неравенстве. Детали внешности персонажей действительно дают точное представление об их имущественном статусе: у одного *губы, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни, пахло от него хересом и флер-д'оранжем* другой *навьючен чемоданами, узлами и картонками, пахло от него ветчиной и кофейной гущей*. (С. II, 250). Однако это не главное в концепции комического и вместе с тем правдоподобного сюжета о двух бывших приятелях, которые встретились совершенно случайно и их реакция друг на друга, как это бывает в таких случаях, спонтанна. Сюжет рассказа таков, что фигура *толстого*, лишенная прямой авторской оценки, выполняет в нем функцию раздражителя, провоцирующего поведение *тонкого*. *Толстый* вполне адекватно, со свойственной нормальному человеку брезгливостью воспринимает омерзительное холуйство бывшего друга. Кстати, доверие к *тайному* советнику обозначено в самом начале встречи, когда он никак не реагирует на бедность *тонкого*, не заметить которую было невозможно, и искренне радуется встрече. Поведение же *тонкого* настораживает сразу, как только он, представляя свою жену, дважды повторяет: *Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка*. (С. II, 250). Видно, что нерусское происхождение супруги

является единственным предметом гордости мужа. С удовольствием вспоминает он о невинном грешке молодости - любви к ябедничеству (С. II, 250). Реакция тонкого - любителя звонких имен и ябедничества - на многочисленные регалии друга детства становится вполне предсказуемой: «побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры», «он съежился, сгорбился, сузился» (С. II, 251). Синэстезия цвета, формы, звука, выраженная глаголами со значением состояния, передает поведение человека с патологически рабской психикой. Вербальная реакция на подобострастие может принадлежать не только толстому, но и любому лицу в подобной ситуации: «- Ну, полно! - поморщился толстый. - Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства - и к чему тут это чинопочитание!» (С. VII, 251). Искренность слов подчеркивается и его физиологической реакцией на очередную порцию экзальтированной признательности собеседника:

*Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.* (С. II, 251).

Именно толстый, несмотря на свою сытую респектабельность, которая вряд ли вызывает особую симпатию автора, становится, тем не менее, проводником его позиции.

Тема внутреннего рабства волновала писателя до такой степени, что он не постеснялся рассказать о своей собственной причастности к нему в молодости и о радости победы над ним:

*Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравившийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, - напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая.* (П. III, 133).

Выдавливание из себя раба, подчеркивает адресант, не имеет никакого отношения к прекраснодушному философствованию на тему тягот жизни, которые якобы принуждают человека быть несвободным. В юмореске «Человек» писатель виртуозно обыгрывает многозначность лексемы человек: герой - лакей (человек) - рассуждает о своей нелегкой службе, сделавшей из него раба. Полисемия слова не снимается контекстом, создавая значимую двусмысленность внутреннего монолога персонажа:

*«Тяжело и скучно быть человеком! - думал он. - Человек - это раб не только страстей, но и своих ближних. Да, раб! Я раб этой пестрой, веселящейся толпы, которая платит мне тем, что не замечает меня. Ее воля, ее ничтожные прихоти сковывают меня по рукам и ногам, как удав своим взглядом сковывает кролика. Труда я не боюсь, служить рад, но прислуживаться тошно! <...> Нет, ужасна ты, доля человека! О, как я буду счастлив, когда перестану быть человеком!»* (С. V, 461).

Говорящее лицо ропщет то ли на судьбу человека вообще, то ли на свою конкретную долю лакея (человека), вызывая смех еще и тем, что идентифицирует себя с Чацким. Последнее предложение с оксюморонным рисунком выражает парадоксальность мечты о счастье героя, которое осуществится тогда, когда он перестанет быть человеком. Конечно, говорящее лицо употребляет слово человек со значением лакей, но замысловатость, туманность и алогичность его рассуждений способствует иному восприятию слова, актуализируя его прямое номинативное значение. Оно очень скоро подтвердится делами философа, его готовностью служить с таким рвением, которому мог бы позавидовать не рассуждающий о доле раба, а только получающий от неё удовольствие тонкий.

В повести «Три года» А. П. Чехов пишет об особом роде рабства, в которое затягивает человека занятие нелюбимым делом:

*Лантев был уверен, что миллионы и дело, к которому у него не лежача душа, испортят ему жизнь и окончательно сделают из него раба... (С. 9, 89).*

Чеховские афоризмы бесконечно глубоки, их смысл дается не сразу, а постигается в течение всей жизни. Так, открывается иное концептуальное содержание всем известного выражения *человек в футляре*, для которого находятся дополнительные интерпретационные аргументы, связанные с тем, что его носитель - фигура, скорее, трагическая, чем комическая. *Человек в футляре* становится собирательным образом определенной малочисленной части учительства, которая объединяет людей особого склада, одиноких и преданных делу, отказавшихся, как того и требует выбранная профессия, от многих житейских благ. И в свете сегодняшнего дня вовсе не кажется нелепостью то, что «древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни». (С. X, 43). Напротив, трудно найти более достойное убежище для учителя, чем погружение в предмет, дающее ощущение счастья. «О, как звучен, как прекрасен греческий язык! - говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил: - Антропос!» (С. X, 43). Смерть Беликова, всё же не сумевшего *защитить себя от внешних влияний* (С. X, 43), увековечила (пусть в гротескной форме) то поколение учителей-энтузиастов, которое без жажды славы и денег отдало всю свою жизнь школе. Среди них действительно редко найдешь людей, счастливых в личной жизни. И не так уж плох, как подсказывает сегодняшний день, тот факт, что они неукоснительно выполняли *циркуляры*. Школа была храмом: в ней осуществлялось воспитание молодого поколения (как показала история, не самого плохого), в ней царили строгий порядок, правда, порядочность, высокие помыслы. Морально-нравственный кодекс сегодняшней школы претерпел значительные изменения. Что касается профессионализма, то не до греческого языка - научить бы русскому. Упразднены многие педагогические табу, а ведь совсем не лишним было бы запретить «ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера» (С. X, 43), а учителям критичнее относиться к многочисленным новациям, часто губительным для целых поколений обучаемых. И в этом смысле слова Беликова «Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло» (С. X, 43) уже не воспринимаются как мракобесие. Мудрая обдуманность в принятии решений всегда спасала школу от авантюризма, от любителей бесконечного эксперимента, создающего иллюзию развития отечественного образования. И только на таких учителях, как *человек в футляре*, кое-как держится сегодняшняя нищая школа, а может, и страна. В рассказе есть важная деталь, которая свидетельствует о том, что Беликов был хранителем национальной духовной идеи, варварски поправленной впоследствии: «духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты» (С. X, 44). Катастрофическая нехватка людей, в присутствии которых стеснялось бы даже духовенство, особенно остро ощутима сейчас, когда чувство стыда вообще стало атавизмом. Немало благоразумия проявил учитель и в любви, отдавая себе отчет в том, что «женитьба - шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность» (С. X, 48). Автор вполне разделяет позицию своего героя, заключая, что тот сумел избежать одного «из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи» (С. X, 48).

«Беликов умер» (С. X, 52), - таков печальный конец человека, попытавшегося покинуть свою спасительную скорлупу. Изображение его смерти лишено каких бы то ни было комических красок. И даже чувство «большого удовольствия», испытанное людьми на его похоронах, показано как результат их незрелости, подобной той, что свойственна детям, которые наслаждаются *полной свободой* в отсутствии старших, не задумываясь, чем чревата такая *свобода*. Иллюзорность незрело-детских ощущений подчеркнет их кратковременность: *доброе расположение* (скорей, заблуждение) продлилось недолго:

*Прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и неразрешенная вполне; не стало лучше (С. X, 53).*

В эпилоге рассказа раскрывается смысл настоящего *футляра*, где «лгут», не смеют «открыто заявить, что <...> на стороне честных, свободных людей», «и всё это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена». От всего этого не спасли героя *зонтик, калоши и греческий язык*. Трехкратный повтор частицы *разве* в вопросительно-риторических предикациях с синтаксическим параллелизмом придает мысли особую убедительность и не оставляет сомнения в том, что автор разделяет её:

- *А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт - разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор - разве это не футляр?* (С. X, 54).

Заметим, что к самым тяжким из перечисленных грехов не причастна фигура честного, бескорыстного, трудолюбивого учителя. «Нет, больше жить так невозможно!» (С. X, 54) - эта фраза могла бы принадлежать Беликову, тщетно попытавшемуся спрятаться в свой собственный мир, чтобы избежать угрозы самого страшного футляра - сложившегося миропорядка.

Беспощадный к себе и к своим персонажам, писатель-врач в своих произведениях изображает нравственный недуг, имя которому - болезнь духа. Безошибочность поставленного диагноза вселяет надежду на исцеление. К нему зовет каждое слово нашего национального гения, обладавшего редчайшим даром говорить о самых сложных проблемах просто, без назидания, ярким, иносказательным языком, который пробивается к самым глубинам человеческой сущности.